

Творческие университеты

Я поместил уже однажды заметку под таким заголовком в «Посеве», но, думаю, не исчерпал ею ни темы, ни заглавия. Напротив: мне кажется, тема эта нужна нам как некий постоянный аспект многих наших критических высказываний о зарубежных изданиях художественной литературы. В посевской заметке я назвал «творческими университетами» некоторые из последних, недавно выпущенных, книг И. Бунина, Б. Зайцева, Н. Тэффи. Что ж, кто будет осчаривать, что живое трепетанье творческого слова на нашей родине сейчас, несмотря на отдельные редкие оазисы, — потушено, отброшено на десятилетия назад запечатавшим творческую свободу заказом, запретившим творческие поиски партийным реализмом. Как же не ценить того немногого творчески подлинного, свободного и мастерского, чем располагаем мы в зарубежки? И — главное — не только «как не ценить?», но и — как не учиться у него?

В заметке я приводил примером этого подлинного два маленьких бунинских стихотворения («Ночь» и «Искушение»), открывающие 28-ую книжку «Нового Журнала». Передавая све читательское ощущение, писал, что вот, кажется, когда читаешь их, многие занимающие нас вопросы формы и стиля поэтического выражения уходят от нас, потому что представляется: именно так и надо писать стихи. Сейчас я хочу поговорить о выпущенной недавно издательством им. Чехова «Жизни Арсеньева». Право на этот разговор (далеко не новый для книги) ощущаю не только в том, что издание «первое полное», и не только потому, что разговор нов для меня самого, лишь надавно книгу узнавшего (как это удивительно: думать, что каждая строка русской литературной классики уже известна тебе, и — неожиданно открыть новые

И. А. Бунин. Жизнь Арсеньева. Юность. Первое полное собрание. Изд-во им. Чехова. Нью-Йорк. 1952.

ее страницы!), но и потому, что посягаю не на «пегую» критическую рецензию, разбирающую по пересказу кляксы комплиментов с восклицательными знаками, а на оценку, так сказать, ученическую, — попытку ответить на вопрос: в чем же в сущности заключается очарование этого произведения? На полемическое вооружение при этой попытке возьму лишь два пункта (обобщая слышанное от иных читателей — «спорщиков»). Пункт первый: «книга очень эгоцентрична: автор всё говорит и говорит о себе». Пункт второй: «Вряд ли может вдохновить современные поиски литературного «направления» этого типа классического реализма». Пунктам и стану следовать.

Автобиографические повествования бывают, действительно, очень часто однокорнейны. Но вот как раз в «Жизни Арсеньева» биографическая колея рассыпается в такую многопутность творческих ее воплощений, какую встретишь не часто. Автор не рассказывает день за днем своего жизненного календаря — он расцветивает пережитое множеством блестящих и разнообразных опосредствований, в которых его «личное», не растворяясь, достигает тем не менее вершин творческого обобщения. Опосредствования литературные, например: «Пушкин поразил меня своим колдовским прологом к «Руслану», — следует поэтическая и замечательная интерпретация «Лукоморья» (стр. 50). И дальше — о «Страшной мести» Гоголя, о «Слове о полку Игореве»... Затем опосредствования психологические — сильные, разнородных мотивов (смерть сестры, стр. 58-61, еще одна смерть — и жизнь, стр. 58-61, еще одна смерть, мать...). И все эти опосредствования, повторяю, становятся, волею и великим мастерством автора, переживаниями, мыслями для нас. Разве, например, только о материи автора ощущаем мы сказанным:

«В далекой родной земле, одинокая, навеки всем миром забытая, да покоится она в мире и да будет во веки веков благословенно ее бесценное имя. Ужели та, чей безглазый череп, чьи серые кости лежат теперь где-то там, в кладбищенской роще захолустного русского города, на дне уже безымянной могилы, ужели это она, которая некогда качала меня на руках? «Пути Мои выше путей ваших и мысли Мои выше мыслей ваших».

Опосредствования природой. О бунинском пейзаже писалось много. «... утром зеркально, зловеще блистало два тусклых солнца, и в тугой и звонкой неподвижности жгучего воздуха весь город медленно и дико дымился альмы дымками из труб и весь скрипел и визжал от шагов прохожих и санных полозьев»... — Это, конечно, изумительно. Но особое существо бунинского пейзажа состоит в том, что он никогда не «штучный орнамент» (как часто бывает это у других!). «... Первобытно подвержен русский человек природным влияниям». И пейзаж у Бунина растворен в герсах, они — в пейзаже. Вот-вот и сползет ощущение, переживание в пейзаж, — и читатель видит, как уносит с собой на всю жизнь подросток цвета и запахи, щедро делясь ими с ним, читателем. В пейзаже обобщение у Бунина особенно могуче и выразительно:

«Как забыть этот ночной зимний звон колокольчиков, эту глухую ночь в глухом снежном поле, то необыкновенное, зимнее, серое, мягкое, зыбкое, во что сливаются в такую ночь снега с низким небом, меж тем как впереди всё чудятся какие-то огоньки, точно глаза каких-то неведомых, ночных, зимних порождений! Как забыть снежный ночной полевой воздух, холодок под енотовой шубой сквозь тонкие сапоги, впервые в жизни взятую в свои молодые, горячие руки вытянутую из меховой перчатки теплую девичью руку — и уже ответно, любовно мерцающие сквозь сумрак девичьи глаза!»

— Это уже не только «авторское», — это мое, ваше, их, человеческое... и это — Россия.

«Эгоцентризм!» (это я повторяю воображаемого оппонента. И слово-то вряд ли у места употреблено. Эгоцентрическое само-

любование в творчестве бывает навязчиво, спору нет. Эгоцентризм центробежный, творчески обобщаемый — неперемное условие художественности произведения. Лишены его — из печатного — разве только телефонные справочники). «Для себя» у Бунина — всегда и «для меня», читателя, — благодаря чудесному богатству его метода творческого воплощения темы, мастерству многогранного поэтического опосредствования частностей — мастерству, которому надо учиться у него без устали. И — богатству и восхитительной точности языка.

И затем — о реализме, о способности книги помочь в «направлении», быть «университетом» для нас. Должен признаться: я с грустью иногда устанавливаю, что не могу уже восхищаться многим из написанного, например, Л. Андреевым или Купринем (бунинскими современниками) или другими некоторыми — не стану тревожить их имена. И в «поисках» наших не возьму их в руководители. Ощущение свежести «Жизни Арсеньева», напротив, непрерываемо при чтении, прошлое входит в «сегодня» без усилий и шороха шагов. — Потому ли, что нет в книге тех, для чуткого уха ощутимо притянутых, страхов и красотей, не окончательно спрятанных литературных жеманств, какие встречаются у названных авторов; потому ли, что нелегко найти в ней никакой, совсем никакой, не органичной творческой свободе тенденции, в силу чего эта творческая свобода, эта совершенная независимость может так обаятельно утвердить себя; потому ли, наконец, что бунинский стиль широкого творческого обогащения пережитого, «большой жизни», отходит от природы традиционного реализма, руша граци «явного» («слишком скудно знание, приобретаемое нами за нашу личную краткую жизнь — есть другое, бесконечно более богатое, то, с которым мы рождаемся...») И далее — об ощущении «виденности» нового в прошлом, в подсознании) и потому нашим «поискам» ближе...

Но, если так, то и «направлению» можем мы у Бунина учиться.

В общем же — за «Жизнью Арсеньева» хочется видеть переизданным и другое бунинское, по бедности библиотек многим зарубежным читателям недоступное.

Л. Ржевский